

МАРГАРИТА КОРВИН



ТЕНИ
БЕЛОГО
БАЛА

Маргарита Корвин
Тени Белого бала

«Автор»

2025

Корвин М.

Тени Белого бала / М. Корвин — «Автор», 2025

Москва, 1812 год. Город, затаивший дыхание в ожидании Великой Армии, живет последними днями мира, последними вальсами и последними надеждами. На ослепительном Белом балу юная княжна Анастасия Ростопчина еще не знает, что пламя, которое вскоре поглотит ее дом, зажжет в ее сердце запретную и всепоглощающую страсть. Когда враг входит в столицу, принося с собой хаос и разрушение, судьба сводит ее с капитаном наполеоновской армии Жаном-Люком де Бомоном — человеком, разрывающимся между воинским долгом и голосом совести. В лабиринте горящих улиц, среди пепла и отчаяния, их тайная любовь становится единственным убежищем и смертельной угрозой. Это история о выборе, когда выбор невозможен, и о чувствах, которые оказываются сильнее грохота пушек и ненависти двух империй. Сможет ли их хрупкий мир уцелеть в огне всеобщей войны?

© Корвин М., 2025

© Автор, 2025

Содержание

Последний мазурка	5
Дыхание запада	9
Город обреченных	13
Орел на кремлевских стенах	18
Первый отблеск пожара	24
Море огня	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Тени Белого бала

Последний мазурка

Воздух в девичьей был густ и неподвижен, пропитанный летучими ароматами фиалковой воды и горячего воска. Он казался таким плотным, что его можно было бы зачерпнуть ладонью, как густой мед. Июньское солнце, уже клонясь к закату, пробивалось сквозь тяжелые шторы из лионского шелка, разрезая полумрак косыми золотыми лезвиями, в которых плясала невесомая пыль. Анастасия стояла перед огромным венецианским зеркалом в потемневшей от времени раме, и отражение отвечало ей взглядом незнакомой, пугающе взрослой девицы. Белое платье из тончайшего муслина, почти невесомое, облегалo ее стан и струилось вниз мириадами складок, напоминая застывший водопад. Белое. Все должно было быть белым сегодня. Граф Орлов, известный своим эксцентричным вкусом, объявил Белый бал, и вся Москва, по крайней мере та ее часть, что еще не уехала в деревни, с ажиотажем приняла вызов. Белые платья, белые перчатки, белые цветы в волосах.

Полина, ее верная горничная, приземистая и крепкая, как боровик, сноровисто закалывала последнюю жемчужную шпильку в сложную прическу, увенчанную веточкой флердоранжа. Ее грубоватые пальцы двигались с удивительной ловкостью.

– Вот и готово, княжна. Истинная лебедушка, – проговорила она с довольным кряхтением, отступая на шаг, чтобы полюбоваться своей работой.

Анастасия едва слышала ее. Взгляд серых глаз был прикован к своему двойнику. Ей было девятнадцать лет, возраст, когда жизнь должна казаться бесконечной летней дорогой, залитой солнцем. Так и было еще прошлой весной. Но теперь что-то изменилось. Над всей этой ослепительной белизной, над блеском балов, над беззаботным смехом в гостиных нависла невидимая тень. Она просачивалась в разговоры обрывками фраз, тревожным шепотом, который тут же смолкал при появлении дам. «La Grande Armée», «Неман», «Император». Эти слова, произнесенные по-французски, языку ее детства, языку Руссо и первых романов, теперь звучали как набат.

– Вы чем-то опечалены, Настенька? – голос Полины вернул ее из тягучих раздумий. – Уж не князь ли Курагин снова вам досадил?

Анастасия вздрогнула. Одно лишь упоминание этого имени вызывало в ней неприятный внутренний холод, словно кто-то провел по спине куском льда.

– Не говори о нем, Поля. Прошу тебя.

Она отвернулась от зеркала, прошла по комнате. Легкий муслин зашелестел, будто испуганная птица. На маленьком столике у окна лежала раскрытая книга – «Новая Элоиза». История запретной, всепоглощающей страсти, которая казалась ей такой прекрасной и такой далекой, как звезда на ночном небе. А рядом, поверх книги, лежал веер из слоновой кости, подарок отца. Она взяла его, провела пальцем по тонкой резьбе. Веер был холодным и гладким, как камень. Таким же холодным и гладким был князь Андрей Курагин. Он был красив, этого нельзя было отрицать, той античной, совершенной красотой, от которой веет музейной пылью. Но в его светло-голубых глазах Анастасия никогда не видела тепла. Лишь ледяное пламя, которое вспыхивало, когда что-то шло не по его воле. И еще она помнила его руки. Сильные, аристократические, с длинными пальцами. Однажды в имении она видела, как этой рукой он до полусмерти забил хлыстом провинившуюся борзую. И на его лице не дрогнул ни один мускул.

Дверь тихо скрипнула, и в комнату вошел ее отец, граф Андрей Ильич Ростопчин. Высокий, сутулый, с седыми висками и лицом, которое за последние месяцы будто высекли из

камня, избородив глубокими морщинами тревоги. Он был одет во фрак, но выглядел так, словно только что вернулся с поля боя, а не готовился к балу. В руках он держал бокал с хересом.

– Ты готова, душа моя? – его голос был хриплым. Он остановился на пороге, оглядывая дочь с какой-то мучительной нежностью. – Ты прекрасна. Как твоя покойная матушка в день нашей помолвки.

Он подошел ближе, и Анастасия уловила не только запах хереса, но и другой, более резкий – запах табака и пыли от старых карт, которые он часами разглядывал в своем кабинете, двигая по ним оловянных солдатиков.

– Благодарю, батюшка.

– Я говорил с князем, – сказал он без предисловий, избегая ее взгляда. – Он будет сегодня на балу. Андрей ждет твоего ответа. Анастасия... я прошу тебя, будь благоразумна.

Анастасия опустила веер. Комната вдруг показалась душной.

– Батюшка, мы ведь уже говорили об этом. Я не могу.

– Не можешь? – в его голосе прорезались жесткие нотки. – Что значит «не можешь»? Курагин – один из богатейших людей России. Он герой, патриот, близкий ко двору. В такое время, как наше, это не просто удачная партия, это... это крепость, Настя. Укрытие. Ты хоть понимаешь, что грядет? Этот корсиканский выскочка не остановится на границе. Он приведет сюда всю Европу.

Он осушил бокал одним глотком и поставил его на столик с такой силой, что хрусталь жалобно звякнул.

– А что, если я не ищу крепости? Что, если я...

– Мечтаешь о любви из французских романов? – он с горькой усмешкой кивнул на книгу. – Жизнь – это не роман, дочка. Это суровая проза. И сейчас начинается ее самая страшная глава. Я хочу быть уверен, что ты и Софья будете в безопасности. Что у тебя будет защитник. Сильный, решительный.

– Князь Курагин жесток, батюшка. В нем нет сердца.

– В нем есть сталь, – отрезал отец. – И в грядущие дни сталь будет цениться куда дороже сердца. Подумай об этом. Подумай о сестре. Подумай обо мне. Я старею.

Он поцеловал ее в лоб, его губы были сухими и горячими. Потом развернулся и вышел, оставив за собой шлейф тревоги, который не мог развеять никакой фиалковый аромат. Анастасия подошла к окну и резко отдернула штору. Москва лежала внизу, залитая мягким светом заката. Золотые купола церквей горели, как неугасимые лампы. Издалека доносился перезвон колоколов к вечерне, стук копыт по булыжнику, смех прохожих. Город жил своей обычной, неспешной, мирной жизнью. И от этого контраста с отцовскими словами и с ее собственной тревогой становилось невыносимо страшно.

Особняк графа Орлова на Пречистенке сиял, как сказочный дворец, выброшенный на берег ночной Москвы. Сотни свечей в окнах и фонарей в саду сливались в одно сплошное дрожащее зарево, бросая вызов наступающим сумеркам. Нескончаемая вереница карет подкатывала к парадному крыльцу, и ливрейные лакеи с бесстрастными лицами распахивали дверцы, выпуская наружу шелест шелков, блеск эплет и волны разгоряченного, надушенного воздуха.

Когда Анастасия, ведя под руку отца, вошла в огромный бальный зал с белыми мраморными колоннами, ее на мгновение ослепило. Белый цвет, отраженный в тысячах граней хрустальных люстр, в зеркалах, в бриллиантах на шеях дам, создавал иллюзию нереального, почти стерильного пространства, где нет места теням и тревогам. Оркестр, спрятанный на хорах, играл полонез, и пары торжественно двигались по натертому до зеркального блеска паркету. Все вокруг улыбались, обменивались поклонами и любезностями, но в самой этой нарочитой праздности чувствовалось напряжение, как в натянутой струне.

– Mon Dieu, какое великолепие! – прошептала рядом пожилая княгиня Мещерская, обмахиваясь веером. – Граф Орлов, как всегда, превзошел сам себя. Словно и нет никакого Бонапарта.

Эта фраза, сказанная шепотом, прозвучала для Анастасии громче музыки. Она огляделась. Мужчины, сбившись в небольшие группы у колонн, говорили отнюдь не о погоде. Их лица были серьезны, жесты резки. До нее долетали обрывки: «...Барклай отступает, это позор...», «...вся надежда на Багратиона...», «...говорят, он перешел Неман три дня назад...». Стоило ей приблизиться, как разговоры тут же смолкали, сменяясь светской болтовней о последней премьере или скачках. Война была здесь, в этом зале, невидимым гостем, чье присутствие все ощущали, но боялись назвать по имени.

Отец оставил ее на попечение старой тетушки и тут же присоединился к одному из таких кружков. Анастасия видела, как его лицо снова окаменело. Она чувствовала себя одинокой и потерянной в этом бурлящем белом котле. Она ответила на несколько поклонов, обменялась ничего не значащими фразами с подругами, но мыслями была далеко. Ей казалось, что все это – огромный, роскошный спектакль, разыгрываемый на краю пропасти. Эти бриллианты, эти улыбки, этот смех – все было хрупко, как тонкий лед на весенней реке.

– Княжна, вы сегодня затмеваете даже свет этих люстр. Позволите ли удостоиться чести?

Голос за спиной заставил ее замереть. Она знала, кому он принадлежит, еще до того, как обернулась. Князь Андрей Курагин стоял перед ней, слегка склонив голову. Белый балльный костюм сидел на нем безупречно, подчеркивая ширину плеч и атлетическую статью. В голубых глазах не было и тени улыбки.

– Князь, – она сделала книксен, чувствуя, как холодеют пальцы, сжимающие веер.

Они закружились в вальсе. Он вел ее уверенно, властно, его рука на ее талии была твердой и горячей сквозь тонкую ткань перчатки. Они молчали несколько кругов, и это молчание было тяжелее любых слов. Музыка кружила их, огни люстр сливались в сплошные огненные полосы.

– Ваш отец сказал мне, что вы еще не готовы дать ответ, – наконец произнес он тихо, так, чтобы слышала только она. Его дыхание коснулось ее виска. – Что смущает вас, княжна Анастасия? Мое состояние? Мой титул? Моя верность государю?

– Ничто из этого, князь, – ответила она, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. – Вы достойный человек.

– Но? – он чуть крепче сжал ее талию. – Всегда есть «но», когда женщина хочет отказать. Я хочу услышать его.

Она подняла на него глаза. Его лицо было совсем близко. Совершенное, холодное, непроницаемое.

– Я вас не люблю, князь.

На его губах промелькнула тень усмешки, но она не коснулась глаз.

– Любовь – это причуда для поэтов и бедных девиц. Дворяне заключают союзы. Я предлагаю вам союз, княжна. Я предлагаю вам защиту, положение, будущее. А вы говорите мне о чувствах. Это несерьезно. Особенно сейчас.

– Для меня это серьезно.

– Вы упрямы, – его голос стал жестче. – Эта черта может быть очаровательной в мирное время. Но мирное время кончилось. Вы стоите на пороге бури, а рассуждаете о цвете облаков. Я тот, кто может удержать вас на ногах, когда поднимется ветер. Подумайте об этом. Я не привык ждать долго. И не привык получать отказы.

Музыка закончилась. Он поклонился, его губы на мгновение коснулись ее руки поверх перчатки. Это прикосновение обожгло ее холодом. Он оставил ее посреди зала и отошел к группе офицеров, а Анастасия чувствовала себя так, словно только что избежала падения в ледяную воду. Не ухаживание. Ультиматум. Вот чем были его слова.

Она нашла убежище на балконе, жадно вдыхая прохладный ночной воздух. Музыка и гул голосов доносились отсюда приглушенно. В саду было темно, лишь редкие фонари выхватывали из мрака силуэты деревьев и белые статуи, похожие на призраков. Она прислонилась лбом к холодной мраморной балюстраде. Так вот оно что. Ее мир, такой привычный, такой надежный, трещал по швам. И люди в нем менялись, сбрасывая маски. Отец, всегда такой добрый и понимающий, теперь видел в ней лишь объект для выгодной сделки во имя безопасности. Князь Курагин, блистательный аристократ, оказался безжалостным торговцем, предлагающим защиту в обмен на ее свободу, на ее душу.

Загремели первые аккорды мазурки. Этот танец, с его быстрыми поворотами, притоптыванием каблучков, всегда казался ей воплощением русской удали, безудержного веселья. Но сегодня в четком, почти военном ритме ей слышался грохот приближающихся армий. Стук каблучков по паркету сливался в ее воображении со стуком тысяч подкованных сапог по пыльным дорогам Европы, ведущим на восток.

Она знала, что должна вернуться в зал, улыбаться, танцевать. Но что-то внутри нее надломилось. Ослепительная белизна бала вдруг показалась ей похоронной. Это были не проводы лета. Это были проводы целой эпохи. Проводы ее безмятежной юности, которая таяла, как снег под апрельским солнцем, оставляя после себя лишь холодную талую воду разочарования и смутную, леденящую душу тревогу. Последний вальс был оттанцован. Последняя мазурка отгремела. Впереди, за освещенными окнами этого призрачного белого дворца, простиралась тьма, и в этой тьме уже разгоралось пламя, которому суждено было поглотить ее дом, ее город и ее мир. Но об этом она еще не знала. Она лишь чувствовала его далекий, еще нестерпимый жар на своей коже.

Дыхание запада

Август принес в Москву не облегчение, а истому. Воздух, густой и тяжелый, как не процеженное сусло, плавился над раскаленными булыжниками мостовых, пах пылью, конским потом и увядающей листвой лип на бульварах. Дни стали короче, ночи душнее, и само время, казалось, замедлило свой бег, завязло в этой тягучей, знойной неопределенности. После Белого бала прошло два месяца, но Анастасии казалось, что та ночь была в другой жизни, отделенной от нынешних дней не неделями, а непреодолимой пропастью. Блеск свечей и белизна муслина истлели в памяти, оставив после себя лишь горьковатый привкус пепла, как после догоревшего фейерверка.

Жизнь в особняке на Арбате изменилась до неузнаваемости. Она не остановилась, нет, но утратила свой привычный ритм, свою стройную мелодию. Теперь она походила на расстроенный клавесин, который при каждом прикосновении издавал фальшивые, дребезжащие звуки. Граф Ростопчин почти перестал выезжать в свет и принимать у себя. Он заперся в своем кабинете, превратив его в штаб проигранной войны. Анастасия, проходя мимо тяжелой дубовой двери, слышала лишь сухое шуршание пергамента и редкое, отрывистое покашливание. Иногда по ночам, когда она шла на кухню за водой для Софьи, мучившейся от жары, она видела под дверью тонкую полоску света. Отец не спал. Он сидел над своими картами, как алхимик над ретортой, пытаясь отыскать в линиях рек и россыпях городов формулу спасения.

Однажды она набралась смелости и вошла к нему без стука. Картина, представшая перед ней, заставила ее сердце сжаться в тугую, холодный комок. Комната, обычно такая строгая и упорядоченная, была в хаосе. Огромная карта Российской Империи была расстелена прямо на полу, прижатая по углам тяжелыми бронзовыми пресс-папье. Другие, поменьше, были приколоты к стенам, к книжным шкафам, даже к бархатным портьерам. Все они были испещрены красными и синими карандашными росчерками, пометками, крестами. Синяя линия, жирная, похожая на язву, ползла от Немана через Вильно, Витебск, упираясь в красную преграду у Смоленска. Отец стоял на коленях посреди этой бумажной баталии, в одном халате, с растрепанными седыми волосами, и смотрел на карту так, словно видел перед собой живое, истекающее кровью тело. Воздух был спертым, пахло сургучом, табаком и чем-то еще – запахом бессонницы и отчаяния.

– Батюшка? – тихо позвала она.

Он медленно поднял голову. Его глаза, всегда такие ясные и чуть насмешливые, были мутными, воспаленными, как у человека в лихорадке. Он смотрел на нее так, будто не сразу узнал.

– Настя... Что ты здесь делаешь?

– Уже вечер. Ужинать скоро. Я пришла позвать вас.

Он неопределенно махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху.

– Ужинать... Какой ужин... Ты видишь? – он ткнул худым пальцем в точку на карте. – Вот. Смоленск. Ключ-город. Если они возьмут Смоленск, дорога на Москву будет открыта.

Барклай отводит войска. Все говорят – предательство. А я думаю – бессилие. Нас слишком много, Настя. Мы слишком большие. Эта страна – как огромный неповоротливый медведь. Пока он поднимется, пока развернется... его уже успеют трижды пырнуть ножом.

Он говорил глухо, самому себе, не ей. Анастасия стояла на пороге, не решаясь ступить на карту, на эту священную и страшную территорию его боли. Она чувствовала себя чужой в его мире, состоящем из названий рек, номеров полков и стратегических выкладок. Ее собственный мир – мир музыки, книг, тихих девичьих грез – казался теперь таким ничтожным, таким неуместным.

– Но ведь наши солдаты... наша армия... – начала она, повторяя фразы, которые слышала в гостиных.

– Армия! – он горько усмехнулся. – Армия – это люди. А люди устают. Люди боятся. А против нас идет не человек. Против нас идет идея. Идея, обутая в солдатские сапоги и вооруженная пушками. Он пообещал им славу, богатство, свободу. А что мы можем пообещать нашему мужику? Ту же самую порку на конюшне, только во славу Отечества?

Он поднялся, потирая затекшую спину. Подошел к окну, отодвинул тяжелую штору. Закат окрасил небо в тревожные, кроваво-лиловые тона.

– Они идут. Слишком быстро, – проговорил он, глядя на мирные московские крыши. – А мы здесь... танцуем на балах и жжем французские книжки.

Он сказал это с такой безнадежной усталостью, что Анастасия почувствовала, как по ее спине пробежал холодок, не имеющий ничего общего с вечерней прохладой. Это было дыхание запада, о котором говорил отец. Ледяное дыхание, которое уже дотянулось до их дома, проникло сквозь толстые стены и теперь студило кровь в жилах.

В светских гостиных, которые Анастасия теперь посещала редко и неохотно, сопровождая тетюшку, атмосфера изменилась еще разительнее. Первоначальный угар патриотизма, с его громкими тостами за государя и проклятиями в адрес «корсиканского чудовища», постепенно сменялся плохо скрываемой нервозностью. Французская речь, еще недавно бывшая единственным языком образованного общества, теперь звучала вызовом, почти непристойностью. Дамы, чьи библиотеки на три четверти состояли из парижских изданий, теперь с показным рвением переходили на русский, спотыкаясь на непривычных оборотах и вставляя галлицизмы в самые патетические тирады о любви к родине.

Салон Анны Павловны Шерер, фрейлины и доверенного лица императрицы, превратился в главный театр этого патриотического спектакля. Здесь больше не обсуждали последние стихи Жуковского или новую итальянскую оперу. Здесь судили и рядили о генералах, чертили на скатертях планы сражений и передавали друг другу слухи, один страшнее другого.

Однажды вечером Анастасия стала свидетельницей сцены, которая надолго врезалась ей в память. Молодой граф Безухов, известный своим вольнодумством и горячностью, принес в салон изящный томик Вольтера в сафьяновом переплете. Он держал его двумя пальцами, словно гадюку.

– Вот, господа! – провозгласил он, привлекая всеобщее внимание. – Корень зла! Яд, который десятилетиями отравлял наши умы! Мы зачитывались их просветителями, мы подражали их нравам, мы говорили на их языке... и вот чем они нам отплатили! Они пришли сюда, чтобы просветить нас огнем и мечом!

С этими словами он подошел к большому мраморному камину, где, несмотря на августовскую духоту, тлели поленья – такова была причуда хозяйки, любившей вид живого огня. Он с размаху швырнул книгу в огонь. Сухие страницы мгновенно вспыхнули. На мгновение, прежде чем их поглотило пламя, Анастасия успела разглядеть готический шрифт и изящную гравюру с профилем философа в шутовском колпаке.

По салону пронесся одобрительный гул. Дамы аплодировали, мужчины кричали «браво!». Кто-то тут же побежал в библиотеку и вернулся с томиком Руссо. Вскоре у камина образовалась целая очередь желающих принести в жертву собственное просвещение. Книги летели в огонь, их золотые обрезы тускнели, тисненая кожа коробилась и чернела. Пламя жадно пожирало страницы, полные мыслей о свободе, разуме и правах человека.

Анастасия стояла в стороне, у окна, и чувствовала, как к горлу подступает тошнота. Ей было не жаль эти книги – у отца в библиотеке их были сотни. Ей было страшно. Страшно от этого коллективного, иступленного безумия. Она смотрела на раскрасневшиеся, возбужденные лица людей, с которыми еще недавно вела тонкие беседы об искусстве, и не узнавала их. В их глазах горел тот же дикий, иррациональный огонь, что и в камине. Они сжигали не вражескую мудрость. Они сжигали собственный страх, пытаясь превратить его в дым и пепел.

– Не одобряете, княжна? – раздался рядом тихий, вкрадчивый голос.

Она обернулась. Рядом стоял пожилой дипломат, князь Козловский, человек умный и циничный, много лет прослуживший в Париже.

– Я не понимаю, князь, – честно ответила она. – Разве мудрость имеет национальность? И разве сожженная книга делает врага слабее?

Козловский криво усмехнулся, поправляя накрахмаленное жабо.

– О, дитя мое, вы рассуждаете как героиня одного из этих романов, – он кивнул на камин. – Когда пушки молчат, спорят идеи. Но когда пушки начинают говорить, идеи превращаются в знамена. И неважно, что на них написано. Важно лишь, какого они цвета. Сейчас в моде триколор и двуглавый орел. Все остальное – ересь.

Он отошел, оставив ее наедине с ее смятием. Она смотрела на огонь, и ей вдруг показалось, что это не камин в гостиной, а целый город, охваченный пламенем. Предчувствие беды было таким сильным, таким физически ощутимым, что у нее на мгновение перехватило дыхание.

А потом в салон пришла весть о Смоленске. Она не влетела с гонцом, не была объявлена громогласно. Она просочилась, как болотный туман, прокралась в разговоры неясным шепотом, родилась из обрывка фразы, подслушанной у чьего-то лакея, из письма, тайно переданного из рук в руки. «Смоленск пал». Эти два слова упали в гулкий, разгоряченный салон, как

камень в воду. Все разговоры разом смолкли. Смех оборвался на полуслове. Кто-то из дам уронил веер, и его стук об паркет прозвучал в наступившей тишине как выстрел.

Город сдали после двух дней ожесточенных боев. Сдали, взорвав пороховые склады и оставив врагу дымящиеся руины. Это не было поражением в открытом бою, но это было страшнее. Это было отступление. Русская армия, которой так гордились, о которой слагали легенды, отступала вглубь своей собственной страны, оставляя за собой сожженные города. Призрак, о котором шептались с начала лета, обрел плоть и кровь. Он больше не был где-то там, за горизонтом. Он был здесь, совсем рядом, и его тень уже легла на дорогу, ведущую прямо к Москве.

Анастасия видела, как в одно мгновение с лиц людей слетели маски показного мужества. Глаза, только что горевшие праведным гневом, наполнились животным, первобытным страхом. Кто-то побледнел, кто-то судорожно перекрестился. Анна Павловна, хозяйка салона, прижала руки к груди и закатила глаза, изображая обморок, но никто не бросился ей на помощь. Каждый был поглощен собственной мыслью, собственным ужасом.

Дорога домой показалась Анастасии бесконечной. Карета медленно катилась по опустевшим улицам. Августовская ночь была темной и беззвездной. Москва, всегда такая шумная, полная жизни даже в поздний час, затаилась, притихла, словно испуганный зверек, почуявший близкого хищника. Редкие фонари выхватывали из темноты встревоженные лица прохожих, торопливо семенивших по своим делам. Из открытых окон трактиров больше не неслась разгульная музыка. Город затаил дыхание.

Вернувшись в свою комнату, она долго не могла раздеться. Она стояла у окна, того самого, из которого когда-то смотрела на залитую закатным светом мирную столицу. Теперь за окном была лишь непроглядная, бархатная тьма. И тишина. Не умиротворяющая тишина летней ночи, а гнетущая, напряженная тишина перед грозой. Тишина, в которой каждый шорох, каждый скрип ставни казался предвестием чего-то ужасного.

Она подошла к книжной полке и провела рукой по кожаным корешкам. Мольер, Расин, ее любимый Руссо... Она вспомнила огонь в камине у Шерер и содрогнулась. Нет, она не станет ничего сжигать. Эти книги были частью ее самой, частью ее души. Отказаться от них – значило предать себя. Но что останется от ее души, от ее мира, если сюда придут они? Солдаты, говорящие на языке этих книг, но несущие не просвещение, а смерть.

Она прижалась лбом к холодному стеклу. Впервые в жизни она ощутила настоящий, леденящий страх. Не страх перед отцом или строгой гувернанткой, не страх перед экзаменом или осуждением света. Это был экзистенциальный ужас перед неизвестностью, перед хаосом, который уже стоял у ворот и готов был ворваться, сметая все на своем пути: привычный уклад, законы чести, саму жизнь. Ее дом, такой надежный, такой вечный, вдруг показался ей карточным домиком, который мог рухнуть от одного дуновения этого холодного ветра с запада. И не было никого, кто мог бы его защитить. Отец был сломлен. Князь Курагин с его стальной волей вызывал лишь отвращение. Она была одна. Девятнадцатилетняя девушка, запертая в своей комнате, в своем городе, в своей стране, на которую неотвратимо надвигалась тень величайшей армии мира. И все, что она могла – это стоять у окна и вслушиваться в тишину, ожидая первого удара грома.

Город обреченных

Гром грянул не с неба, а из коридора. Он начался с пронзительного, дребезжащего звона служебного колокольчика, который дергали нетерпеливо и долго, с той панической настойчивостью, что не оставляла сомнений: случилось непоправимое. Привычная, сонная тишина сентябрьского утра в особняке Ростопчиных взорвалась. Вслед за звоном послышался топот множества ног, сдавленные женские всхлипы, отрывистый мужской крик, оборвавшийся на полуслове. Звуки, невозможные в этом доме, где даже половицы под ногами лакеев боялись скрипеть.

Анастасия, сидевшая у постели Софьи и читавшая ей вполголоса сказки Перро, чтобы отвлечь от мучившего девочку кашля, замерла, подняв голову. Сердце сделало один тяжелый, глухой удар и замерло, прислушиваясь. Даже Софья, бледная и тоненькая, как восковая свеча, перестала кашлять и широко раскрыла глаза, полные испуга.

– Что это, Настя? – прошептала она.

Анастасия приложила палец к губам, но в этом уже не было нужды. Дверь в детскую распахнулась без стука, и на пороге появилась Полина. Ее всегда аккуратно уложенные волосы были растрепаны, платок сбился набок, а лицо, обычно румяное и спокойное, стало серым, как печная зола.

– Барышня... Княжна Анастасия Андреевна... – выдохнула она, хватаясь за сердце. – Беда.

Не дожидаясь вопросов, Анастасия выскочила в коридор. То, что она увидела, было похоже на сцену из дурного, лихорадочного сна. По широкой парадной лестнице, по которой еще вчера чинно спускались гости, теперь метались горничные и повара, таща узлы с пожитками. Старый камердинер Тихон, воплощение невозмутимости и порядка, стоял посреди холла, обхватив голову руками, и раскачивался из стороны в сторону. Из кабинета отца доносился звон разбитого стекла.

– Полина, что случилось? Говори же! – Анастасия схватила служанку за плечо, встряхнула.

– Оставляют... – пролепетала Полина, ее губы едва двигались. – Москву оставляют. Гонца прислали от градоначальника. Кутузов приказал. Француз под самыми стенами. Уходить велено всем, кто может. Немедля.

Слово «немедля» повисло в воздухе, холодное и острое, как игла. Оно пронзило ватную пелену неверия, заставив Анастасию очнуться. Она бросилась к кабинету отца. Дверь была распахнута настежь. Граф Ростопчин стоял спиной к ней, лицом к огромной карте на стене. Он не двигался. У его ног валялись осколки хрустального графина, и по дорожному персидскому ковру расплзлось темное пятно воды, похожее на рану.

– Батюшка! – позвала она.

Он обернулся. Его лицо было страшно. Не искажено гневом или страхом, нет. Оно было пустым. Все чувства, вся жизнь словно ушли из него, оставив лишь дряблую, пергаментную маску. Глаза смотрели сквозь нее, сквозь стены дома, сквозь саму Москву, на что-то, видимое лишь ему одному.

– Все кончено, – проговорил он тихо, бесцветным голосом. – Я ставил на армию. А они... они просто отдали ее. Без боя. Сердце России. Отдали на поругание...

– Батюшка, нам нужно уезжать! Собираться! Софья...

Он словно не слышал. Он снова отвернулся к карте и провел по ней дрожащим пальцем, от Смоленска до Москвы.

– Такая короткая дорога, – прошептал он. – Такая короткая, страшная дорога...

Анастасия поняла. Помощи от него не будет. Он был здесь, но душа его уже блуждала где-то на руинах его мира. Крепость рухнула, и он остался под ее обломками. В этот миг в ней что-то оборвалось. Детство, с его верой в то, что взрослые все решат, что всегда есть надежная стена, за которой можно укрыться, – все это исчезло. Стена рассыпалась в прах. И она, девятнадцатилетняя девушка, осталась одна на ветру.

Она развернулась, и в ее голосе появилась твердость, которой она сама от себя не ожидала.

– Полина! Запрягать карету. И повозку для вещей. Бери самое нужное. Теплую одежду, еду, воду. Все серебро, все платья – оставь! Слышишь? Только то, что спасет нам жизнь. Тихон! Помоги батюшке. Одень его, выведи к карете. Остальным – кто хочет уходить с нами, пусть собираются быстро. Кто нет – воля ваша. Но через час мы уезжаем.

Люди, до этого метавшиеся в хаосе, замерли, услышав этот ясный, властный приказ. Он был как удар хлыста, приведший в чувство обезумевшую лошадь. Они посмотрели на молодую княжну с удивлением, а затем, кивнув, бросились исполнять.

Следующий час слился в один сплошной, лихорадочный кошмар. Анастасия металась по дому, который на глазах превращался из родного гнезда в разоряемый муравейник. Она сама одела бледную, дрожащую Софью, укутав ее в несколько шалей. Пока Полина сбивала в тюки одеяла и выгребала из кладовой остатки муки и солонины, Анастасия лихорадочно соображала, что еще нужно взять. Не драгоценности. Не фарфор. Она сняла со стены миниатюрный портрет матери в овальной рамке из слоновой кости. Сунула в саквояж шкатулку с материнскими письмами и тяжелый фамильный молитвенник в серебряном окладе. Вещи, которые были не ценой, а памятью. Ее взгляд упал на раскрытый том Руссо на столике. С горькой усмешкой она захлопнула его. Время романов действительно прошло.

Когда они вышли на крыльцо, Москва уже ревела. Это был не привычный городской гул, а именно рев – низкий, утробный, многоголосый вой агонии. Улицы, обычно широкие и просторные, превратились в узкие ущелья, забитые до отказа людскими телами, повозками, скотом. Все, что могло двигаться, двинулось на восток, к Владимирской и Рязанской заставам. Богатые кареты, запряженные четверками породистых лошадей, отчаянно сигналили, пытаясь пробиться сквозь море телег, груженных домашним скарбом. Крестьяне гнали мычащих коров,

матери тащили за руки плачущих детей, купцы, бросив свои лавки, пытались вывезти хоть что-то на тачках. Воздух был тяжелым от пыли, криков, проклятий и того особого, кисловатого запаха, который источает испуганная толпа.

Их карета, в которую Тихон с трудом усадил безучастного ко всему графа и дрожащую Софью, медленно тронулась, врезаясь в этот поток. Анастасия с Полиной устроились на второй, более простой повозке, доверху нагруженной их скудными пожитками. Кучер, старый Ефим, с лицом, похожим на печеное яблоко, отчаянно ругался и хлестал лошадей, но они могли двигаться не быстрее пешехода.

– Держитесь, барышня, – прохрипел он, не оборачиваясь. – Главное – заставу проехать. А там уж просторней будет.

Но до заставы было еще далеко. Их путь был чередой бесконечных остановок. Человеческая река то замирала, превращаясь в стоячее болото, то вдруг делала судорожный рывок вперед. Анастасия вцепилась в край повозки, стараясь не потерять из виду темно-вишневый верх их кареты, маячивший впереди. Она видела, как в окошке мелькает бледное личико Софьи, и это было единственное, что удерживало ее от паники. Она должна быть рядом. Она обещала себе это.

Хаос нарастал. Люди становились злее, отчаяннее. Анастасия видела, как какой-то мещанин выхватил нож, когда его телегу попытались оттеснить с дороги. Видела, как изящная коляска с гербом на дверце опрокинулась в кювет, и из нее, как горох из стручка, посыпались нарядные дамы в шелках, на которых никто не обращал внимания. Законы, приличия, сословия – все это было смыто волной всеобщего бегства. Остался лишь один закон – закон выживания.

Они уже приближались к Дорогомиловской заставе, когда случилось то, чего Анастасия боялась больше всего. Впереди, в самом узком месте, где дорога сворачивала к мосту, столкнулись две груженные фуры. Путь оказался заблокирован. Толпа, напиравшая сзади, взревела от ярости и нетерпения. Началась давка. Лошади испуганно ржали и бились, люди кричали. Их повозку с силой прижало к стене какого-то дома. Анастасия услышала резкий, сухой треск.

– Ось! – выкрикнул Ефим. – Ось сломалась, проклятая!

Повозка накренилась. Один из тюков сполз на землю. Лошади, почувствовав свободу, дернулись вперед. Полина вскрикнула. Анастасия видела, как их карету, подхваченную общим потоком, который начал обтекать затор по обочине, медленно уносит вперед. Она вскочила на ноги, пытаясь разглядеть ее сквозь мельтешение голов, повозок, лошадиных морд.

– Батюшка! Соня! – закричала она, но ее голос утонул в общем гвалте.

Карета на мгновение показалась снова, уже дальше, ее вишневый верх был как капля крови в мутном потоке. Потом она скрылась за поворотом. Исчезла.

– Ефим, трогай! Скорее! – в отчаянии крикнула Анастасия кучеру.

– Не могу, барышня! Колесо не крутится! Приехали!

Поток несся мимо них, равнодушный, безжалостный. Люди обтекали их сломанную повозку, как река обтекает камень, бросая на них злобные, торопливые взгляды. Никто не остановился, никто не предложил помощь. Они остались одни, выброшенные на обочину этого апокалиптического исхода.

Время потеряло свой счет. Может, прошел час, а может, всего несколько минут, прежде чем людской поток начал редеть. Шум постепенно стихал, сменяясь странной, звенящей тишиной, нарушаемой лишь скрипом редких, отставших телег и далеким, тоскливым собачьим лаем. Улица опустела. Она была завалена брошенными вещами: разбитой посудой, детскими игрушками, иконами, чьей-то одинокой бархатной туфелькой. Все это выглядело как следы внезапного, таинственного исчезновения целого народа.

Анастасия сидела на краю сломанной повозки, обхватив колени. Внутри у нее была пустота. Не страх, не отчаяние – просто холодная, звенящая пустота. Она смотрела на дорогу, уходящую за поворот, туда, где скрылась карета, и все еще не могла поверить в случившееся.

Полина подошла и осторожно коснулась ее плеча.

– Что ж делать-то теперь, княжна? – ее голос был тихим и осипшим.

Анастасия подняла на нее глаза. Взгляд служанки был испуганным, но в нем была и решимость. Она ждала приказа. И Анастасия поняла, что сидеть и ждать бессмысленно. Никто не вернется. В этом хаосе их просто не найдут. Двигаться вперед пешком, без еды, без защиты, по забитым беженцами дорогам – безумие.

И тогда в ее голове родилось решение. Единственное возможное. Страшное, нелогичное, идущее вразрез со всем, что происходило вокруг.

– Мы возвращаемся, – сказала она твердо.

Полина отшатнулась.

– Куда, барышня? В город? Да ведь там же... француз!

– Они еще не вошли. А если и войдут, мы спрячемся. Это наш дом. Другого у нас нет. Мы не можем идти в никуда. Мы вернемся и будем ждать.

Это было больше чем решение. Это был акт отчаяния, смешанный с упрямством. Весь мир бежал из Москвы, а они пойдут обратно, против течения, в самое сердце обреченного города.

Они сняли с повозки один узел, самый легкий, с остатками еды и парой теплых шалей. Все остальное бросили. Ефим, сняв с лошадей упряжь, понуро повел их в сторону какой-то подворотни. «Хоть животные уцелеют, может», – пробормотал он на прощание и исчез.

И они пошли. Две одинокие женские фигуры на опустевшей, изувеченной улице. Их шаги гулко отдавались в тишине. Город, который они увидели, был уже не тем, что они покинули несколько часов назад. Он был мертв. Двери домов и лавок были распахнуты настежь, словно в немом крике. Ветер гонял по мостовой обрывки бумаг и перья из распоротых перин. Из какой-

то подворотни на них с лаем выскочила стая бездомных собак с горящими голодными глазами. Они попятились, и собаки, не решаясь напасть, проводили их злобным рычанием.

Чем ближе они подходили к центру, тем тише и страшнее становилось. Тишина была неестественной. Москва никогда не молчала. Даже глубокой ночью в ней всегда жила тысяча звуков. Теперь же она была безмолвна, как гробница. Анастасия видела знакомые особняки, церкви, переулки, но не узнавала их. Лишенные людей, они превратились в пустые декорации. Призрачный город, населенный лишь тенями и эхом недавней жизни.

Когда они свернули на свой Арбат, сердце Анастасии сжалось еще сильнее. Улица, всегда такая оживленная, была пуста. Лишь на углу сидел какой-то нищий в лохмотьях и монотонно что-то бормотал себе под нос, раскачиваясь. Он был похож на единственного уцелевшего жреца в разрушенном храме.

Вот и их дом. Чугунные ворота, обычно запертые наглухо, были приоткрыты. Одна створка неестественно провисла. Они вошли во двор. Парадная дверь, высокая, дубовая, обитая медью, была распахнута. Это было последнее, самое страшное нарушение всех законов их мира. Дом с открытой дверью – это не дом, а рана.

Они вошли в холл, и их встретил холод и полумрак. Внутри был тот же беспорядок, что и снаружи. Разбросанные на полу вещи, которые не смогли или не успели забрать слуги. Опрокинутый стул. Чей-то забытый на столике женский ридикюль. Воздух был неподвижным, пахло пылью и воском от погасших свечей. Тишина здесь была еще глубже, гуще, чем на улице. Она давила на уши, заполняла собой все пространство.

Анастасия медленно прошла в гостиную. Солнечный свет, пробиваясь сквозь щели в закрытых ставнях, чертил на полу длинные светлые полосы, в которых кружились пылинки. Все было на своих местах: мебель, покрытая чехлами, портреты предков на стенах, смотревшие на нее со строгим укором, рояль с закрытой крышкой. Но это была видимость жизни. На самом деле жизнь ушла отсюда вместе с людьми. Осталась лишь оболочка.

Она подошла к большому зеркалу и посмотрела на свое отражение. На нее смотрела незнакомая девушка с бледным, испачканным пылью лицом, с потемневшими от ужаса глазами, в простом дорожном платье. Всего несколько часов назад она была княжной Ростопчиной, хозяйкой этого дома, частью большого и сильного рода. Теперь она была никем. Одинокой песчинкой в вихре истории, запертой в пустом доме, в мертвом городе, на пороге которого уже стоял враг.

Дом перестал быть крепостью. Он стал западней.

Орел на кремлевских стенах

Первые сутки в пустом доме прошли в тишине, но это была не та тишина, что приносит покой. Эта тишина имела плотность и вкус – вкус пыли, оседавшей на бархате мебели, и привкус металла во рту от непроходящего страха. Она была живой, эта тишина; она дышала в пустых коридорах, шуршала забытой на полу газетой, скрипела половицей на втором этаже, заставляя замирать и вслушиваться в гул собственной крови в ушах. Анастасия и Полина забаррикадировали парадную дверь тяжелым комодом из карельской березы и задвинули все щеколды на черном входе. Ставни на окнах первого этажа были наглухо закрыты, превратив некогда светлые комнаты в сумрачные, гулкие пещеры, где единственным источником света были тонкие, как лезвия, полосы дня, пробивавшиеся сквозь щели.

Они устроили себе убежище в маленькой комнате Полины под самой крышей, с одним окном, выходившим во внутренний двор. Оттуда, если прижаться щекой к прохладному стеклу, был виден кусочек неба и верхушки старых лип в саду. В этой комнате они ели свой скудный запас хлеба и вяленого мяса, пили воду из ведра, которое Полина с риском для жизни наполнила ночью у колодца, и почти не разговаривали. Слова казались неуместными, громкими, они нарушали хрупкое оцепенение, которое обе женщины приняли за подобие безопасности. Анастасия часами сидела на жестком сундуке, обхватив колени, и смотрела в одну точку. Ее мысли не текли, а ворочались, как тяжелые камни. Она пыталась представить себе, где сейчас карета, где отец и Софья, но воображение рисовало лишь хаос дороги, опрокинутые повозки и растерянные лица. Эта неизвестность была пыткой, куда более изощренной, чем прямая угроза.

На второй день звуки вернулись. Сначала это был далекий, низкий гул, похожий на рокот приближающейся грозы, от которого едва заметно дрожали стекла. Потом гул распался на отдельные составляющие: мерный, тяжелый топот тысяч ног по булыжнику, скрип колес артиллерийских лафетов и резкие, гортанные выкрики команд на чужом языке. Французы входили в город. Анастасия припала к окну, стараясь разглядеть что-нибудь через листву. Она не видела солдат, но видела, как по небу, отражаясь от низких облаков, поползли странные тени. И слышала. Чужая речь лилась по улицам Москвы, заполняя пустоту, утверждая свое право на этот город. Она знала этот язык с детства, он был языком ее первых книг, ее гувернанток, языком элегантных бесед в гостиных. Теперь он звучал иначе – грубо, властно, как лязг засова в тюремной камере.

Полина сидела в углу, перебирая в руках маленький медный крестик. Ее лицо окаменело.

– Богородица, Заступница... – шептала она, и ее шепот был единственным русским звуком в этом новом, захваченном мире.

К вечеру город изменился окончательно. Упорядоченный шум марширующих колонн сменился разноголосым гвалтом. Слышался пьяный смех, женские визги, звон разбитого стекла. Несколько раз совсем рядом, на соседней улице, раздавались одиночные выстрелы – короткие, сухие хлопки, после которых наступала особенно жуткая тишина. Порядок, с которым армия входила в город, рассыпался, уступая место хаосу грабежа. Великая Армия, освободительница Европы, превращалась в стаю голодных волков, дорвавшихся до беззащитной добычи.

Анастасия заставила себя отойти от окна. Она понимала, что их убежище ненадёжно. Их дом, большой, богатый, был слишком соблазнительной целью. Рано или поздно они придут и сюда. Она оглядела маленькую каморку. Здесь негде было спрятаться.

– Полина, – ее голос был хриплым, непослушным. – Мы спустимся вниз. В винный погреб.

Вход в погреб был в дальнем конце кухни, замаскированный тяжелым дубовым люком, который обычно прикрывал старый ковер. Спустившись по скользким каменным ступеням, они оказались в царстве холода и темноты. Воздух был сырым, пах винной плесенью, землей и временем. Они зажгли огарок свечи, и его слабое пламя выхватило из мрака длинные стеллажи с пыльными бутылками, похожими на застывших солдат, и несколько пустых бочек в углу.

– Сюда, – прошептала Анастасия, указывая на пространство за бочками. – Если они спустятся, может, не заметят сразу.

Они забились в самый темный угол, укрывшись старой мешковиной. Свечу пришлось погасить. Мрак обступил их, плотный и почти осязаемый. Теперь единственным окном в мир были звуки, доносившиеся сверху. И они не заставили себя ждать.

Сначала послышался оглушительный треск – выламывали дверь черного хода. Затем – топот нескольких пар тяжелых сапог по плитам кухни. Грубые, торжествующие голоса. Они говорили на смеси французского с какими-то другими, неизвестными Анастасии наречиями. Послышался грохот – это опрокинули стол. Звон разбитой посуды. Кто-то нашел остатки провизии, и раздались довольные возгласы. Их шаги разнеслись по всему первому этажу. Анастасия слышала, как они ходят по гостиной, по кабинету отца. Глухой удар – это, наверное, взломали ящик бюро. Протяжный скрип – сорвали со стены картину. Дом стонал под их ногами, как живое существо под ножом мясника.

Анастасия сидела, не дыша, вцепившись в руку Полины. Ее собственное тело казалось чужим, деревянным. Она была не человеком, а одним сплошным, напряженным слухом. Она различала все: как кто-то пытается подобрать мелодию на расстроенном рояле, как другой с руганью сдирает с окон тяжелые шторы. Это было не просто ограбление. Это было осквернение. Они не просто забирали вещи – они уничтожали ее мир, ее прошлое, топча его грязными сапогами.

Потом шаги послышались на лестнице, ведущей вверх.

– Эй, Пьер! Посмотри здесь! Может, девки спрятались! – крикнул кто-то снизу.

Раздался пьяный хохот.

Сердце Анастасии пропустило удар и забилось часто-часто, как крылья пойманной птицы. Они идут вверх. Прямо над их головами загремели сапоги. Она слышала, как они с треском распахивают двери в спальню, в ее комнату, в детскую Софьи. Грохот, ругань. Они искали не только ценности. Они искали живых.

Внезапно в кухне над их головами снова раздался голос. Кто-то споткнулся обо что-то на полу.

– Qu'est-ce que c'est? – спросил один голос. – Что это?

– Un tapis. Ковер, – ответил другой.

Пауза. Анастасия почувствовала, как ледяная струйка пота потекла у нее по спине. Она поняла, что произошло. В спешке они забыли прикрыть люк ковром.

– Посвети-ка сюда. Под ним что-то есть.

Раздался скрип сдвигаемого в сторону ковра, затем глухой удар – тяжелый люк откинули. В прямоугольнике над их головами появился мутный свет фонаря.

– Une cave! Погреб! А ну, парни, там наверняка лучшее вино!

Полина рядом тихо всхлипнула и зажала рот рукой. Анастасия зажмурилась, прижимаясь к холодной, влажной стене. Бежать было некуда. Кричать – бессмысленно. Конец.

Первый солдат спрыгнул вниз, тяжело приземлившись на каменный пол. Свет фонаря метнулся по стенам, по бутылкам. За ним спустился второй, пониже ростом, с осповатым лицом и жадными, бегающими глазками. Третий остался наверху, у люка.

– О-ля-ля! Смотри, Жак! Тут хватит на всю роту! – сказал первый, высокий, с рыжими усами, и схватил со стеллажа бутылку. Он сноровисто отбил горлышко о край полки и жадно припал к осколкам, проливая темное вино себе на грязный мундир.

Второй, Жак, не спешил к вину. Его взгляд, цепкий и хищный, шарил по темным углам. Фонарь в его руке дрожал, бросая по стенам пляшущие, уродливые тени. И луч света замер, наткнувшись на их укрытие за бочками.

– А это еще что? – проговорил он медленно, с неприятной усмешкой. – Посмотрите-ка, Франсуа. Кажется, мы нашли не только вино.

Он сделал шаг к ним, поднимая фонарь выше. Свет ударил Анастасии в глаза, ослепляя. Она инстинктивно заслонила руку.

– Вылезайте, крыски, – прошипел Жак. – Не бойтесь, мы не кусаемся. Если нас хорошо попросить.

Франсуа, оторвавшись от бутылки, обернулся. Увидев женщин, он издал радостный, животный клич.

– Magnifique! Две! И одна совсем молоденькая! Сегодня наш счастливый день!

Полина затряслась всем телом, бормоча бессвязные молитвы. Анастасия же, наоборот, застыла. Страх достиг той высшей точки, за которой начинается странное, холодное спокойствие. Она медленно поднялась на ноги, отстраняя от себя дрожащую Полину, и вышла из-за

бочек. Она не опустила глаза. Она смотрела прямо в лицо Жаку, в его маленькие, пороссячи глазки, и в ее взгляде не было мольбы. Только ледяное презрение.

Эта немая дуэль взглядов, возможно, спасла ее на несколько секунд. Солдат был озадачен. Он ожидал слез, криков, но не этой гордой, несгибаемой позы.

– А, аристократка! – протянул он, распознав в ее осанке и чертах лица породу. – Тем лучше. Они обычно сговорчивее.

Он шагнул к ней и протянул свою грязную, покрытую ссадинами руку, чтобы схватить ее за плечо. Анастасия отшатнулась, но спиной уперлась в холодный камень стены.

И в этот самый момент сверху, из люка, раздался спокойный, но властный голос:

– Qu'est-ce qui se passe ici? Что здесь происходит?

Все трое вздрогнули и подняли головы. В проеме люка стояла фигура офицера. Свет с кухни падал на него сзади, превращая его в темный силуэт, но были видны золотые эполеты на плечах и точеная линия профиля.

– Mon capitaine! – вытянулся в струнку Франсуа, едва не выронив бутылку. – Мы... мы нашли немного провизии. И...

– И что? – Голос офицера был ровным, без тени гнева, но в этой ровности чувствовалась сталь. – Доложите, сержант.

Жак, опустив фонарь, промямлил:

– Нашли двух женщин, капитан. Прятались здесь.

Офицер помолчал мгновение, затем легко, одним движением, спрыгнул в погреб. Он был высок, строен, и даже его походный мундир, пыльный и потертый, сидел на нем с какой-то врожденной элегантностью. Он сделал несколько шагов вперед, и свет от фонаря упал на его лицо.

Анастасия замерла. Она ожидала увидеть жестокость, триумф победителя, пьяный блеск в глазах. Но ничего этого не было. Лицо офицера было бледным, почти изможденным. Под темными глазами залегли глубокие тени. А в самих глазах, умных и пронизательных, не было ни злобы, ни радости завоевателя. В них была лишь бездонная, вселенская усталость. Усталость человека, который видел слишком много смертей, слишком много грязи, слишком много бессмысленности. Он смотрел не на нее, а как будто сквозь нее, и его взгляд был взглядом врача, констатирующего неизлечимую болезнь мира.

– Оставьте их, – сказал он тихо, но так, что каждое слово прозвучало как приказ.

– Но, капитан... – начал было Жак, в его голосе прозвучало возмущение. – Это же просто русские... добыча...

Офицер медленно повернул к нему голову. Он не повысил голоса, не сделал ни одного резкого движения. Он просто посмотрел на сержанта. И в этом взгляде было что-то такое, отчего тот попятился, ссутулился и замолчал.

– Я сказал, оставьте их, – повторил офицер. – Вы грабите дом. Этого достаточно. Солдаты Великой Армии не насильники. Или я ошибаюсь, сержант Дюбуа?

Последняя фраза прозвучала с едва уловимой, ледяной иронией. Сержант, которого он назвал Дюбуа, покраснел до корней волос.

– Никак нет, мой капитан.

– Тогда вы оба – наверх. И заберите с собой того, кто стоит на карауле. Общитесь дом и ждите меня на улице. Живо.

Солдаты, не смея послушаться, бросили на Анастасию злобные, разочарованные взгляды и, подсаживая друг друга, выбрались из погреба. Их тяжелые шаги быстро затихли в отдалении.

В погребе остались только они трое. Анастасия, съежившаяся в углу Полина и этот странный, усталый офицер. Он не смотрел на них. Он подошел к стеллажу, взял одну из уцелевших бутылок, повертел ее в руках, рассматривая этикетку. Его движения были неторопливыми, почти рассеянными.

– Шато Марго тысяча восемьсот второго года, – проговорил он вполголоса, словно самому себе. – Ваш отец, мадемуазель, был ценителем.

Он поставил бутылку на место и только тогда обернулся к Анастасии. Теперь, когда непосредственная угроза миновала, к ней вернулась способность мыслить. И первой ее мыслью была жгучая, унижительная обида. Ее спасли. Ее, княжну Ростопчину, в ее собственном доме спас от бесчестия враг, оккупант, один из тех, кто принес горе на ее землю. Это было невыносимо.

Она выпрямилась, одернула платье и шагнула вперед.

– Monsieur, – начала она на безупречном французском, и ее голос, к ее собственному удивлению, прозвучал холодно и твердо. – Je vous remercie de votre intervention. Mais nous n'avons pas besoin de votre pitié. Позвольте спросить, что вам угодно в этом доме?

Он вскинул брови. Удивление, промелькнувшее в его глазах, было искренним. Он явно не ожидал услышать здесь такую чистую парижскую речь. Он оглядел ее с новым интересом – не как мужчина женщину, а как ученый, обнаруживший редкий, неожиданный экземпляр.

– Вы говорите по-французски, мадемуазель, – констатировал он. В его голосе не было ни лести, ни насмешки, лишь сухая констатация факта.

– В России многие образованные люди говорят на языке Вольтера и Руссо, – с вызовом ответила она. – Хотя в последнее время мы начинаем в этом раскаиваться.

Он позволил себе слабую, мимолетную улыбку, которая лишь подчеркнула усталость на его лице.

– Боюсь, Вольтер не несет ответственности за действия капралов, которые его никогда не читали. Меня зовут капитан Жан-Люк де Бомон. Мой отряд расквартирован в этом квартале. Я вошел, услышав шум.

– Вы хотите сказать, что пришли наводить порядок? – в ее голосе прозвучал нескрываемый сарказм. – Весьма похвально. Правда, несколько поздно.

Он не обиделся на ее тон. Он лишь снова обвел взглядом разгромленный погреб, и в его глазах промелькнула тень отвращения.

– Война – это уродливое ремесло, мадемуазель. Она высвобождает в людях самое дурное. Я не строю иллюзий на этот счет.

– И тем не менее, вы здесь, капитан.

– Да, – ответил он просто. – Я здесь.

Наступила пауза. Они стояли в нескольких шагах друг от друга в полумраке винного погреба, посреди руин ее прежней жизни. Русская княжна и французский офицер. Враги по определению, по крови, по присяге. Но в этот момент Анастасия впервые увидела перед собой не безликого «француза», не солдата с орлом на кивере, а просто человека. Человека, в чьих глазах была та же боль и та же усталость, что и в ее собственной душе. Это было пугающее, невысказанное открытие. И оно лишало ее простой, ясной ненависти, которая одна могла бы дать ей силы.

Первый отблеск пожара

Да, я здесь. Эти три слова, произнесенные без всякого пафоса, упали в сырую тишину погребца и не утонули, а остались лежать на поверхности, как сухие листья на темной воде. Они не были ни угрозой, ни обещанием, лишь констатацией факта, неоспоримого и страшного в своей простоте. Он был здесь. В ее доме. В ее городе. В ее жизни. Анастасия почувствовала, как спадает ледяное оцепенение, уступая место горячей, унижительной волне. Она была спасена. И это было хуже, чем если бы ее оставили на растерзание. Милость врага обжигала сильнее любого оскорбления.

Капитан де Бомон не смотрел на нее. Его взгляд был обращен на свои руки, на потертые кожаные перчатки, которые он медленно стягивал с пальцев. Движение было настолько обычным, настолько мирным, что казалось кощунственным в этом разгромленном подземелье. Он словно давал ей время, позволял воздуху, загустевшему от страха, снова стать пригодным для дыхания. Полина, все еще стоявшая в углу, перестала всхлипывать и теперь лишь судорожно икала, прижимая к груди свой медный крестик, словно он мог защитить ее от этого нового, непонятного ужаса – ужаса вежливого врага.

– Вы останетесь здесь до утра, – сказал он, наконец, и его голос, лишенный всяких интонаций, прозвучал как приговор. – Мои люди... они выпили. Город охвачен лихорадкой. Внизу безопаснее.

Анастасия вскинула голову. Гордость, единственное, что у нее осталось, разыграла в ней, как яд.

– Мы не ваши пленницы, мсье капитан, чтобы вы указывали нам, где находиться в нашем собственном доме.

Он поднял на нее глаза. В их темной глубине не было ни раздражения, ни снисхождения. Лишь тень чего-то похожего на понимание, что злило ее еще больше.

– Вы правы, мадемуазель. Вы не пленницы. Вы – две женщины в городе, где сейчас нет ни законов, ни власти, кроме власти оружия. Я не указываю. Я констатирую единственный разумный выход. Если, конечно, вы цените свою жизнь и... – он сделал едва заметную паузу, – ...то, что дороже жизни.

Он не договорил, но эта недосказанность была красноречивее любых слов. Анастасия почувствовала, как краска стыда заливает ее щеки. Он был прав. Ее гордость была лишь глупым, детским упрямством перед лицом грубой реальности. Она опустила взгляд, уставившись на свои стоптанные туфельки, испачканные уличной грязью.

Жан-Люк де Бомон не стал упиваться своей маленькой победой. Он отстегнул от пояса небольшую флягу и солдатский ранец из грубой кожи. Поставил их на пустую винную бочку.

– Здесь вода и немного хлеба с сыром. Это мой паек, так что можете не опасаться. И вот.

Он достал из кармана небольшой огарок свечи и коробочку с трутом и кремнем. Положил их рядом с флягой. Эти простые предметы – вода, хлеб, огонь – выглядели в полумраке погребца как священные дары, символы выживания.

– Утром я пришлю за вами. Не выходите, что бы вы ни услышали.

Он повернулся, чтобы уйти.

– Почему? – вырвалось у Анастасии против ее воли.

Он замер у лестницы, не оборачиваясь.

– Почему вы это делаете?

Он помолчал несколько долгих ударов сердца. Потом, все так же стоя к ней спиной, ответил:

– Моя мать тоже осталась одна в нашем поместье в Провансе, когда якобинцы пришли сжигать замки. Ей повезло. Мимо проходил отряд республиканской гвардии, и офицер, командовавший им, оказался порядочным человеком. Я просто возвращаю старый долг, мадемуазель. Больше ничего.

С этими словами он подтянулся и легко выбрался из люка. Мгновение спустя тяжелая дубовая крышка опустилась на место, отрезав их от мира. Прямоугольник света исчез, и они погрузились в абсолютную, непроглядную тьму, в которой единственным живым звуком было прерывистое дыхание Полины.

Ночь в погребе была похожа на погребение заживо. Время утратило свою линейность, превратившись в вязкую, холодную субстанцию. Анастасия зажгла свечу, и ее крошечное, трепещущее пламя стало центром их вселенной, отвоевав у мрака маленький островок света. Они сидели на полу, прижавшись друг к другу спиной для тепла, и молчали. Полина в конце концов задремала, уронив голову на колени Анастасии, ее дыхание стало ровным, почти спокойным. Но Анастасия не могла сомкнуть глаз. Ее мысли металась, как летучие мыши в запертном склепе.

Она снова и снова прокручивала в голове сцену в погребе. Лица солдат, искаженные похотью и пьянством, – это было понятно, это укладывалось в ту картину врага, которую она себе нарисовала. Но капитан де Бомон... Он разрушил эту картину. Его усталость, его сдержанность, его странный, почти отстраненный акт милосердия. И эта история про мать... Он не пытался вызвать сочувствие, он просто объяснил свой поступок, сведя его к простой формуле возвращения долга, словно речь шла о карточной игре. Он пытался обезличить свой поступок, лишить его всякой эмоциональной окраски. И именно это делало его еще более значительным. Он не спасал ее, княжну Ростопчину. Он спасал абстрактную женщину во имя памяти о спасении другой, своей матери. Это было так холодно, так логично и так... благородно, что у нее перехватывало дыхание от этого невозможного противоречия. Враг не мог быть благородным. Это нарушало все законы войны, все законы ее мира. Если враг может быть человеком, то на чем тогда держится праведная ненависть, питавшая ее последние недели? На что опереться, если земля уходит из-под ног?

Она отломил кусочек хлеба, который он оставил. Хлеб был черствым, грубого помола, но он был настоящим. Она поднесла его ко рту, и в этот момент ее пронзила острая, постыдная мысль: она собирается съесть хлеб врага. Хлеб, который был частью пайка армии, разорившей ее страну. Она замерла, держа его в руке. Но голод, простой, животный голод, который она не замечала весь день, взял свое. Она медленно, почти с отвращением, начала жевать. И с каждым глотком, с каждым куском этого солдатского хлеба она чувствовала, как что-то в ней ломается, как рушится еще одна внутренняя стена. Она принимала от него не только защиту. Она принимала от него жизнь.

Когда тяжелый люк над головой сдвинулся, пролив в погреб серый, безрадостный утренний свет, Анастасия не вздрогнула. Она ждала этого. В проеме показалось лицо того же капитана де Бомона. Оно выглядело еще более усталым, чем вчера. На его щеке темнела свежая царапина.

– Вы можете подниматься, – сказал он ровно. – В доме больше никого нет.

Подъем по скользким ступеням был как возвращение из небытия. Но мир, в который они вернулись, был миром после конца света. Кухня была неузнаваема. Опрокинутая мебель, разбитая посуда, рассыпанная по полу мука, смешанная с вином из разбитых бутылок, – все это создавало картину дикого, варварского пиршества. Но страшнее всего было в гостиной.

Анастасия замерла на пороге, и крик застрял у нее в горле. Это было не просто ограбление. Это было методичное, злобное уничтожение. Обивка на креслах была вспорота штыками, и из прорех торчали клочья конского волоса. Фарфоровые статуэтки пастушков и пастушек, которые она так любила в детстве, были сброшены с каминной полки и превратились в груды белых осколков на полу. Но самое страшное ждало ее у стены. Большой парадный портрет ее прадеда, сенатора и героя екатерининских войн, был изуродован. Кто-то полоснул ножом прямо по лицу, вырезав глаза. Из пустых глазниц на нее смотрела вековая тьма холста.

Это был удар под дых. Они не просто украли серебро. Они надругались над ее родом, над ее памятью. Она подошла к портрету и дрожащей рукой коснулась рваных краев холста. В этот момент она ненавидела их всех – и тех пьяных солдат, и этого капитана, и всю их армию – с новой, острой, почти физической силой.

– Мои люди будут наказаны, – раздался за ее спиной голос де Бомона.

Она резко обернулась. Он стоял в дверях, и на его лице была тень того же отвращения, что и в ее душе. Он смотрел на изуродованный портрет, и в его взгляде была не только профессиональная досада командира за своих подчиненных, но и что-то другое – стыд. Стыд за то, во что превратилась его армия.

– Наказаны? – горько усмехнулась Анастасия. – Вы вернете этим наказанием глаза моему прадеду? Вы вернете мне мой дом?

– Нет, – ответил он тихо. – Дома не возвращают. Их отстраивают заново.

Он прошел в центр комнаты, осторожно ступая между осколками.

– Я пришел сообщить вам, мадемуазель, что мой батальон располагается в этом квартале. Мы реквизируем несколько соседних домов под штаб и лазарет. Ваш дом... он останется за вами.

Анастасия смотрела на него, не понимая.

– Что это значит?

– Это значит, что я выставлю у ваших дверей часового. Официально – для надзора за имуществом, которое может понадобиться армии. Неофициально... – он сделал паузу, подбирая слова, – ...чтобы вчерашняя история не повторилась. Никто больше не войдет сюда без моего приказа.

Она молчала, пытаясь осознать его слова. Это была не свобода. Это была клетка с личным охранником. Защита, которая одновременно была формой оккупации. Он не освобождал ее, он брал ее под свой контроль. Парадоксальная, невыносимая ситуация.

– Мы не просили вас о защите, – сказала она глухо.

– Вы и не просили меня спасти вас вчера в погребе, – парировал он с той же спокойной логикой. – Но я считал это необходимым. Считаю и сейчас. Вы с вашей служанкой будете жить на втором этаже. Я прикажу перенести вам туда воду и провизию. Прошу вас не покидать своих комнат. Город еще не успокоился.

Он говорил как врач, предписывающий строгий постельный режим капризному, но тяжелобольному пациенту. Его правота была настолько очевидной, настолько неоспоримой, что спорить было бессмысленно. Любой протест выглядел бы жалкой бравадой.

Она молча кивнула. Это был не знак согласия, а знак бессилия.

Часовой появился через час. Это был совсем молодой солдат, почти мальчик, с рыжеватым пушком на щеках и испуганными голубыми глазами. Он встал у парадного входа с ружьем, которое казалось для него слишком большим и тяжелым, и смотрел на проходящих мимо мародеров с такой же опаской, как и те, кого он должен был охранять. Его присутствие было постоянным, молчаливым напоминанием о том, кем они теперь были: не хозяйками дома, а его почетными узниками.

Дни потекли, похожие один на другой, как мутные капли воды. Анастасия и Полина жили в двух комнатах на втором этаже – спальне Анастасии и смежной с ней гостиной. Все остальное пространство дома стало для них чужим и запретным. Иногда снизу доносились шаги, голоса. Капитан де Бомон устроил в бывшем кабинете отца что-то вроде своего временного штаба. Он не беспокоил их. Раз в день солдат-денщик, угрюмый бретонец, приносил им на подносе еду – солдатский суп, хлеб, иногда кусок вареной конины. Они ели молча, не глядя друг на друга.

Анастасия пыталась чем-то занять себя. Она перебирала уцелевшие книги, но строчки расплывались перед глазами. Пыталась шить, но иголка валилась из ослабевших пальцев. Большую часть времени она проводила у окна, того самого, из которого когда-то смотрела на мирную, залитую солнцем Москву. Теперь за окном был другой город. Город, наполненный чужими солдатами, город, в котором жизнь замерла, ушла в подвалы и на чердаки.

Вечером третьего дня в их дверь тихо постучали. Это был он. Капитан де Бомон стоял на пороге, держа в руках медный подсвечник с зажженной свечой.

– Прошу прощения за беспокойство, мадемуазель, – сказал он официально. – Я хотел убедиться, что у вас все в порядке.

Анастасия стояла, прислонившись к косяку, и молчала. Она не пригласила его войти.

– У нас есть все необходимое, мсье, благодарю вас, – ее голос прозвучал холодно.

Его взгляд скользнул мимо нее, вглубь комнаты, и остановился на миниатюрном портрете ее матери, который она поставила на комод. Это была единственная вещь, которую она спасла из общей гостиной.

– Какая красивая женщина, – сказал он тихо, почти про себя. – У нее ваши глаза.

Анастасия вздрогнула. Этот неожиданный переход на личное, это простое, человеческое замечание пробило брешь в ее ледяной броне.

– Это моя мать, – ответила она сухо, чувствуя, как к горлу подкатывает комок.

– Она... – он осекся, поняв свою бестактность.

– Она умерла много лет назад, – закончила за него Анастасия.

– Простите.

Наступила неловкая пауза. Пламя свечи в его руке колебалось, бросая на его усталое лицо подвижные, нервные тени. Он выглядел бесконечно чужим и в то же время странно знакомым.

– Я не буду вас больше задерживать, – сказал он, делая шаг назад. – Спокойной ночи, мадемуазель.

– Спокойной ночи.

Она закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, его стук слышен во всем доме. Что это было? Зачем он приходил? Эта короткая, почти безмолвная встреча выбила ее из колеи сильнее, чем все грабежи и угрозы. Ненависть была простой и ясной. Она давала силы. Но что делать с этим непонятым чувством, которое рождалось в ее душе? Это была не симпатия, нет. Скорее, тревожное, мучительное любопытство. Кто он, этот человек, который говорит о ее матери и спасает врагов, находясь в самом сердце вражеской столицы?

Она не могла уснуть. Полина давно спала в кресле, укрывшись шалью. Дом и город погрузились в тишину, но это была нездоровая, напряженная тишина. Анастасия подошла к окну и отодвинула край тяжелой шторы. Ночь была безлунной, чернильной. Она прижалась лбом к холодному стеклу, пытаясь разглядеть хоть что-то в непроглядной тьме.

И тут она увидела.

Сначала это было едва заметное, слабое мерцание на стене соседнего дома. Словно кто-то далеко-далеко зажег и тут же погасил фонарь. Она не придала этому значения. Но через минуту отсвет появился снова, на этот раз ярче, настойчивее. Он не был желтым, как свет от свечи или лампы. Он был странного, больного, багрово-рыжего цвета. И он не стоял на месте. Он пульсировал, дышал, как живое существо.

Анастасия шире распахнула окно и высунулась наружу. Прохладный ночной воздух пах чем-то горьким, едким. Гарью. Она посмотрела в ту сторону, откуда шел свет, – на восток, в сторону Китай-города и Зарядья. И то, что она увидела, заставило ее кровь застыть в жилах.

Над темным силуэтом города, там, где крыши домов сливались с небом, поднималось зарево. Это не был огонь от одного дома. Это была широкая, рваная полоса света, расплывшаяся по горизонту, как кровавая рана на темном теле ночи. Она лизала края облаков, окрашивая их в немыслимые, апокалиптические цвета. Оттуда, издалека, не доносилось ни криков, ни треска. Пожар был еще слишком далеко. Он был беззвучным, призрачным, как видение из страшного сна.

Она смотрела, не в силах отвести взгляд. Пульсирующие отсветы ложились на ее лицо, на ее белую ночную рубашку, на стены ее комнаты. Она стояла, залитая этим зловещим, неземным светом. Внезапно, в другом месте, ближе, в районе Арбата, из-за крыш вырвался еще один язык пламени, тонкий и острый, как жало скорпиона. А потом еще один. И еще. Словно кто-то невидимый и могущественный зажигал по всей Москве гигантские погребальные свечи.

Где-то внизу, на улице, прозвучал тревожный горн. Послышались торопливые шаги, гор-танные крики. Армия, еще не успевшая отдохнуть от завоевания, просыпалась перед лицом нового, непонятного врага. Но Анастасия не слышала этого. Она слышала лишь далекий, едва уловимый гул, похожий на вздох гигантского зверя, и редкие, панические удары одинокого церковного колокола, который кто-то забытый всеми бил в набат.

Она поняла. Это не было случайностью. Это не были пьяные солдаты, неосторожно обращавшиеся с огнем. Это было что-то другое. Что-то огромное, целенаправленное и страшное. Это было начало конца. Багровые отблески, плясавшие на стенах ее комнаты, были не просто отражением далекого огня. Они были первым отблеском того ада, в который ее городу, ее дому и ее душе предстояло погрузиться. И в этом аду уже не будет врагов и друзей, русских и французов. Будут только те, кто сгорит, и те, кто попытается выжить.

Море огня

Зарево не гасло. Оно расплзлось по ночному небу, как смертельная болезнь по живому телу, медленно и неотвратно. К утру багровые отсветы сменились густыми, маслянистыми столбами дыма, которые поднимались из-за крыш и сливались в одно грязно-серое, низко висящее облако, заслонившее солнце. Воздух, еще вчера бывший просто теплым, стал горячим и сухим, он першил в горле, приносил с собой запахи, которых Анастасия никогда прежде не знала: острую вонь гари, смешанную с чем-то приторно-сладким, как подгоревшее варенье, и едва уловимый, тошнотворный дух жженой шерсти. Москва горела.

Она не сходила со своего поста у окна, превратившись в безмолвного, оцепеневшего наблюдателя. За ночь мир за окном преобразился в декорацию к адскому спектаклю. По улице больше не ходили – по ней бежали. Фигурки людей, сторбленные, почерневшие от сажи, металлись с узлами, тащили на себе детей, падали, поднимались и снова бежали. Иногда пробегали группы французских солдат, их синие мундиры казались почти черными в этом сумрачном, безрадостном свете. Они кричали что-то гортанное, размахивали руками, но их попытки навести порядок тонули в нарастающем хаосе, как щепки в бурном потоке.

Гул, еще вчера бывший далеким и приглушенным, приблизился и обрел голос. Теперь это был не просто рокот, а сложный, многослойный звук, в котором сплетались воедино треск лопающихся от жара балок, пронзительный стеклянный звон вылетающих оконных рам и странный, низкий вой, похожий на стон исполинского зверя. Это выл ветер, втянутый в огненную воронку, он гудел в печных трубах брошенных домов, разнося по городу горящие головни и семена паники.

– Барышня, надо уходить, – Полина стояла позади нее, сжимая в руках икону Казанской Божьей Матери, которую она успела снять со стены в своей каморке. Ее лицо было белым и строгим, как у покойницы. – Огонь близко. Я чую.

Анастасия не обернулась. Она смотрела на крышу соседнего дома, где только что приземлился большой, тлеющий кусок чего-то, похожего на дранку. Мгновение он лежал неподвижно, потом от него пополз тонкий, сизый дымок.

– Куда, Поля? Куда мы пойдем? – ее голос был ровным и безжизненным. Холодное, отстраненное спокойствие, рождающееся на самом дне ужаса, овладело ею. – Везде то же самое. Этот дом – все, что у нас есть.

В этот самый момент крыша соседнего дома, до этого лишь курившаяся, вспыхнула. Не постепенно, а разом, будто кто-то плеснул на нее маслом. Язык пламени, ярко-оранжевый, почти веселый, взметнулся к серому небу, и порыв горячего ветра донес до них ощутимый жар. Полина вскрикнула и отшатнулась от окна.

Этот огненный всполох подействовал на Анастасию как удар хлыста. Оцепенение спало. Она поняла, что каждая секунда промедления превращает их дом из убежища в гробницу.

– Ты права, – сказала она резко. – Воды. Намочи платки, простыни, все, что найдешь. Быстро!

Действуя с лихорадочной, механической точностью, они готовились к бегству. Анастасия сбросила с себя домашнее платье, оставшись в одной рубашке, и натянула первое, что попало под руку – темную юбку и простую кофту Полины. Роскошные наряды, оставшиеся в гардеробной, казались теперь насмешкой. Она обернула голову мокрым платком, закрыв волосы и часть лица. Дым уже просачивался в комнату, едкий и удушливый, он щипал глаза, вызывая слезы.

Когда они выскочили на лестницу, первый этаж уже был в дыму. Видимость была почти нулевой. Сквозь клубящуюся мглу пробивались зловещие оранжевые отсветы. Горела пристройка со стороны кухни.

– В сад! Через библиотеку! – крикнула Анастасия, хватая Полину за руку.

Они бросились вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. В холле было невыносимо жарко. Штукатурка с потолка сыпалась мелкими, горячими крошками. Анастасия бросила взгляд в сторону гостиной. Там, сквозь дым, она увидела, как огонь уже лижет края бархатных портьер. Изуродованный портрет прадеда взирал на это своими пустыми глазницами, и казалось, что из прорезей на холсте сочатся кровавые слезы.

Дверь в библиотеку была тяжелой, окованной железом. Она могла задержать пламя на несколько минут. Анастасия навалилась на нее всем телом. Засов поддался с мучительным скрипом. Они ввалились внутрь, и здесь воздух был еще чистым, но уже горячим. Книги. Тысячи книг, которые собирали поколения Ростопчиных, стояли на полках, ровными, строгими рядами. Кожаные, сафьяновые, пергаментные корешки, хранящие мудрость веков. Через мгновение все это превратится в пепел. У нее не было времени на скорбь. Она подбежала к высокому стрельчатому окну, выходившему в сад, и отчаянно забила по тяжелым запорам.

– Помоги!

Вдвоем они едва смогли повернуть заржавевший механизм. Створки распахнулись, впуская в комнату волну свежего, но такого же горячего воздуха. Снаружи мир ревел. Сад, еще вчера бывший тихим и тенистым, превратился в арену битвы огня и ветра. Верхушки старых лип пылали, как гигантские факелы, роняя вниз огненные листья.

– Прыгай! – крикнула Анастасия.

Окно было невысоко над землей. Полина, перекрестившись, неуклюже перевалилась через подоконник и спрыгнула на выжженную, потрескавшуюся землю. Анастасия последовала за ней. Едва ее ноги коснулись земли, как за спиной, в библиотеке, раздался оглушительный грохот и звон. Это рухнула огромная хрустальная люстра.

Они бежали по саду, пригибаясь от летящих искр и горящих веток. Воздух был наполнен пеплом, он скрипел на зубах, забивал ноздри. Они задыхались. Особняк, их дом, был полностью охвачен пламенем. Он горел яростно, празднично, выбрасывая в небо фонтаны огня из пустых оконных проемов. Крыша провалилась с глухим, утробным стоном, и в небо взметнулся снап искр, похожий на салют в честь гибели целого мира. Анастасия на мгновение остановилась, завороченная этим ужасным зрелищем. Она смотрела, как огонь пожирает ее детство, ее воспоминания, ее прошлое. Она не чувствовала ни боли, ни страха. Только звенящую, бездонную пустоту.

– Сюда, барышня! Сюда! – голос Полины вывел ее из ступора.

Служанка тащила ее за руку в дальний конец сада, туда, где за густыми зарослями сирени, пока еще не тронутыми огнем, стоял старый каменный флигель. Когда-то в нем жил садовник, но последние годы он стоял заброшенным. Он был построен из камня, с толстыми стенами и железной крышей, и это давало призрачную надежду.

Дверь была заперта на висячий замок. Полина отчаянно дергала его, ломая ногти. Бесполезно. Анастасия огляделась. Рядом с крыльцом лежал большой, замшелый бульжник, которым когда-то подпирали дверь. Она с трудом подняла его.

– Отойди!

Собрав последние силы, она несколько раз ударила камнем по замку. Металл глухо звенел. На третий раз ржавая дужка не выдержала и лопнула. Они ввалились внутрь, в спасительную прохладу и темноту, и Полина тут же захлопнула за ними тяжелую дверь, задвинув массивный внутренний засов.

Они были в безопасности. На время.

Внутри флигеля пахло сыростью, мышами и прелой листвой. Обстановка была скудной: грубый деревянный стол, пара лавок, топчан в углу. Единственное маленькое окошко, затянутое паутиной, выходило на заднюю стену сада. Сквозь грязное стекло пробивался все тот же нездоровый, оранжевый свет. Они рухнули на земляной пол, не в силах стоять. Несколько минут они просто лежали, судорожно глотая относительно чистый воздух, и слушали, как бьются их сердца и как ревет снаружи огненный шторм. Их мир сузился до размеров этой маленькой, темной комнаты. Все, что было за ее стенами, перестало существовать. Был только огонь снаружи и они – внутри.

Время остановилось. Минуты растягивались в липкую, горячую вечность. Гул пожара то нарастал, то стихал, подчиняясь порывам ветра. Иногда до них доносились глухие удары – это рушились стены или падали деревья. Анастасия лежала на полу, закрыв глаза, и перед ее внутренним взором стояли не картины разрушения, а странные, обрывочные воспоминания: вот она, маленькая девочка, прячется за портьерой в гостиной, играя с отцом; вот она кружится в своем первом бальном платье перед зеркалом; вот Софья смеется, сидя на коленях у матери под старой липой в саду... Той самой липой, которая сейчас, наверное, превратилась в обугленный скелет.

Она не знала, сколько они так пролежали. Может, час, может, целый день. Чувство времени было уничтожено, сожжено вместе с домом. Постепенно рев огня начал стихать, сменяясь более тихим, но не менее зловещим потрескиванием. Жар, проникавший даже сквозь толстые каменные стены, начал спадать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.